**Джордж Мид и символический интеракционизм**

Осипов Г.

Джордж Герберт Мид как классик социологии, бесспорно и по праву признаваемый ныне таковым, занимает своеобразное место. Можно ли считать классиком человека, который за всю свою жизнь не опубликовал ни одной книги и практически не был известен за пределами круга своих непосредственных учеников и коллег? Можно ли считать классиком социологии мыслителя, специальными областями занятий которого были физиологическая психология и философия? Несмотря на эти вполне резонные оговорки, значение его попытки обоснования социальной психологии, реконструируемой на основании посмертно опубликованных книг и многочисленных журнальных статей, дает нам право относить его к категории классиков. А учитывая к тому же, что его основополагающие идеи получили дальнейшее развитие почти исключительно среди социологов, где Мид стал наиболее часто цитируемым авторитетом, а сформулированные им понятия стали неотъемлемой частью профессионального жаргона, не приходится удивляться, что его включают в галерею наиболее видных социологов.

История его влияния заключается прежде всего в том, что о: явился родоначальником символического интеракционизма, одной. из социологических школ, которая придает особое значение открытости общественных структур и субъективному сознанию действующих лиц; именно эта школа, долгое время остававшаяся в тени, в период преодоления функционализма вместе с родственной ей феноменологической социологией стала приобретать все большее значение.

**1. Историко-философские позиции**

Специфичная для Мида версия прагматизма объективно, несомненно, совпадает с традиционной линией, к которой можно отнести Пирса, Райта, Джеймса и Дьюи, и трактуется именно исходя из этой традиционной линии. Однако ее своеобразие не будет понято, если не заострить внимание на отношении Мида к немецкому идеализму и его неизменной полемике с философией жизни, главным образом представленной Дильтеем, Бергсоном и Уайтхедом. Необходимо также понять, каким образом Мид освобождается от этих взаимосвязей, переходя к важному аспекту своей деятельности — формированию основ социальной психологии. Отношение Мида к немецкому идеализму является решающим фактором для понимания его формы прагматизма. Он исходит из Канта как философа революции, корни которого усматриваются от Руссо. Руссо был первым, кто, исходя из возможности разумного единения, в сущности, преодолел альтернативы оптимистической или пессимистической антропологии, мысля демократию как коллективное самоопределение и освобождение от господства путем взаимного признания и всеобщих законов. Кант применяет этот вывод к вопросу об условиях возможности универсально значимого познания и моральной ориентации.

Мид разделяет кантовскую постановку вопроса, однако его ответ считает неудовлетворительным. Если условия объективного познания наличествуют в субъекте до всякого опыта, то, стало быть, они находятся вне пределов какой бы то ни было общности и предшествуют всякому развитию. Трансцендентному субъекту Канта Мид противопоставляет общность деятельных и общающихся людей. Таким образом, познание основывается на кооперации и коммуникации, наиболее четко проявляющихся в экспериментаторской и интерпретаторской общности научного исследования. Познание подчинено развитию в процессе единения всех участвующих в его обретении, в процессе усвоения опыта отдельным человеком и в естественно-историческом формировании его основ в субъектах.

Именно под таким углом зрения рассматривает Мид развитие немецкого идеализма после Канта, в трудах Фихта, Шеллинга и Гегеля. У всех троих реализация «Я» через «Не-Я» и проблема самоотражения хотя и становятся центральными, тем не менее все они остаются приверженными трансцендентально-философской фундаментальной структуре и тем самым в конечном итоге исходят из единичного субъекта.

Итак, вопрос о связи индивидуальных перспектив неизбежно становится общим вопросом: возникает необходимость в функции божественно абсолютного «Я», заполняющего место волеобразования сообществ; вопрос об исторических предпосылках познания, ибо теперь история и даже естественная история должны объясняться в категориях некоего материала долга, эстетического творения или рефлексии; вопрос об открытости и созидаемости будущего, ибо теперь абсолютное знание и фикция конца истории устраняют неопределенность, а наука превращается в подчиненную составную часть знания. Критикуя немецкий идеализм, Мид упрекает его в неспособности полного охвата индивидуальности в ее конкретности, не растворяющейся в историко-философских взаимосвязях, а также в том, что он не дорос до тех выводов, которые проистекают из полного понимания экспериментальных наук.

Преодоление этого недостатка Мид, правда, ни в коей мере не связывал с левыми гегельянцами, которые, по-видимому, были ему совершенно незнакомы, ни с Марксом, изложение которого [8] у Мида выглядит карикатурным. Его надежды на «конструктивную новую формулировку проблемы» связываются с психологией, которая, испытав на себе влияние эволюционной теории Дарвина. неразрывно связывает дух с органической природой, а в дальнейшем с философской адаптацией теории относительности, в частности у Уайтхеда. Эволюционная теория Дарвина изначально противоречит, в понимании Мида, философской традиции. Его принципиальная модель организма в окружающем мире, к которому он должен приспосабливаться, чтобы выжить, способствует обоснованию всякого знания поведением и всякого поведения обусловленными природой необходимостями воспроизводства себя самого и своего вида, вместо того, чтобы, исходя из сознания предварительно организованного «Я», пытаться постфактум вывести поведение и внешний мир. Его теория происхождения видов преодолевает альтернативу механистического или телеологического объяснения развития. Для Мида и прагматизма в целом Дарвин не является главным свидетелем при объяснении детерминистской концепции, напротив, здесь скорее предпринимается попытка истолковать основную структуру процессов приспособляемости животных как примитивную аналогию разумному поведению людей и методу экспериментальных наук, чьим «логическим обобщением» считает себя прагматизм [27, с. 55]. В соответствии с таким подходом Дарвин не приближается и к той психологии, которая рассматривает поведение как простую реакцию на раздражение; Мид воспринимает такую точку зрения как простое затушевывание старого разделения организма и окружающего мира. При всем положительном отношении к «сравнительной психологии (животных)» Мид все же выступает против тенденции игнорировать, используя прежнее понятие психического, нечетко выявленные характеристики человека.

Этот подход наиболее зримо отразился в статье Дьюи «Понятие дуги рефлекса», в которой наиболее внятным образом была сформулирована общая позиция Дьюи и Мида и на которую Мид в дальнейшем неизменно ссылался [3].

Первым шагом в ходе мыслей Мида является вывод о том, что раздражение представляет собой активно искомую организмом возможность выражения определенных способов поведения, для которых существовало побудительное напряжение. Таким образом, между раздражением и реакцией существует не односторонняя, дугообразная связь, но переменное, кругообразное отношение. При возникновении проблемы поведения, т. е. при возникновении конфликта между двумя импульсами или помехах, создаваемых поведению окружающей средой, животные решают подобную проблему через случайный поиск или методом проб и ошибок. У человека же, напротив, — и это уже второй шаг — аналогичная ситуация, связанная с препятствием к осуществлению деятельности, возникает в сознании. Препятствие на пути реализации деятельности порождает дифференцированное внимание, направленное на объекты окружающего мира; цель этого внимания состоит в том, чтобы обеспечить возможность продолжения деятельности. Следовательно, сознание является в конституциональных условиях человека функциональной необходимостью для деятельности, а не просто побочным явлением. Мид принадлежит к основателям теории функционалистской психологии, которая пытается исследовать все психические процессы и явления с точки зрения их функционального значения для жизненного процесса. Однако Мид идет дальше, выдвигая в качестве центрального момента вопрос о функциональности самих психических явлений.

Подобная постановка вопроса приводит также к тому, что Мид впоследствии не применяет в отношении себя понятие «функционализм». Психическое — это не своеобразная субстанция, и все точки зрения ученых, которые либо соглашаются, либо отрицают подобную характеристику, задаются вопросом о субстанциональных отношениях к психическому и отрицают их или же пытаются проанализировать в различных по глубине разработки теориях, трактующих о психофизическом параллелизме, оказываются ошибочными. Для Мида психическое имеет своим источником систематически повторяющуюся структуру деятельности: оно представляет собой «кризис в процессе деятельности», который всегда бывает индивидуальным и конкретным. Если в процессе деятельности возникают препятствия, то импульсы и схемы реакций перестают совпадать друг с другом; формируется такая фаза, в которой они предоставлены свободной игре, чтобы стал возможным новый творческий акт. Третий шаг ведет к анализу ситуаций, уже недостаточно одного лишь обостренного внимания, нацеленного на объект, чтобы обеспечить возможность продолжения деятельности. Здесь имеются в виду социальные ситуации, в которых сам действующий человек является стимулом и по этой причине должен обращать внимание на свои собственные действия, ибо они определяют реакции других людей и тем самым условия для его собственного реагирования. В социальных ситуациях самосознание впервые становится функциональным [29, с. 403].

Вопрос о возникновении самосознания — как в видовом и индивидуально-историческом отношении, так и в эволюционно- и социально-теоретическом аспектах — встает теперь вполне логически, даже если он при этом, естественно, не решается. Выступив с такой постановкой вопроса, а затем и предприняв попытки решить его, Мид явился продолжателем важного наследия немецкого идеализма в американском прагматизме. Такой подход дал ему возможность преодолеть противоречия других постулатов социальной психологии.

По мере развития научной психологии и с устранением программного антипсихологизма старой социологии на рубеже веков становятся все более частыми попытки заложить основы социальной психологии. Большая часть этих попыток колебалась на грани между общественно или природно детерминированными представлениями. В то время как одни ученые могли представить себе индивида только как некую механическую частицу общества, а обучение (например, Тард) — только как имитацию, другие исследователи пытались объяснить всякое поведение, исходя из прирожденных инстинктов индивидов (Мак-Дугалл). Подобно опытам по установлению электрических соединений, эти подходы представлялись Миду неудовлетворительными уже потому, что они даже не ставили перед собой центральный для него вопрос о возникновении «самосознания». Там же, где понимание существования идентичности «Я» вообще имело место, вопрос о ее возникновении искажался, так как обоснование ей пытались искать в примате самовосприятия, в некой более высокой очевидности внутреннего постижения по сравнению с внешним. Эта позиция, которую в равной мере разделяли такие ученые, как Джеймс и Бергсон, Дильтей и Гуссерль, вызывала неизменное противодействие со стороны Мида. В радикальности указанной постановки вопроса заключается эпохальное значение творчества Мида. В своей критике Мид выступает против зачаточной формы иррационалистских тенденций философии жизни: она принимала за основу переживание, а не действие. Если можно показать, что уже само переживание : проистекает из препятствия в процессе деятельности, то лишается почвы всякая психологизированная теория развития общества.

Коль скоро психическое представляет собой некую фазу в процессе деятельности, то общественная взаимосвязь не может быть ничем психическим, но является только взаимосвязью по поводу деятельности [15]. Поэтому Мид и не может опираться ни на одного из названных ученых. Он разрабатывает решение своей проблемы, исходя, скорее, из связующего элемента между физиологической психологией и народной психологией, заимствованного у признанного современниками классика Вильгельма Вундта в его теории языка. Каким образом это происходит, мы увидим в следующем разделе статьи.

**2. Творчество. Антропология коммуникации; социальная психология**

В своем обосновании социальной психологии Мид исходит не из поведения отдельного организма, а из кооперированной группы специфических человеческих организмов. Начальным для Мида является не некая робинзонада, не рассмотрение одиноко действующего человека, который только еще должен вступить в социальные связи и утвердить общеобязательные ценности, но социальный акт, комплексная групповая деятельность. Для социальной психологии целое (общество) важнее части (индивида), не часть важнее целого; часть получает объяснение с точки зрения целого, а не целое с точки зрения части или частей.

Группы человеческих организмов имеют условия, которые отличаются от условий дочеловеческой стадии развития. В противоположность, например, колониям насекомых за счет физиологической дифференциации уже не гарантируется система жесткого разделения труда. Даже действующий применительно к позвоночным животным принцип регулирования групповой жизни посредством инстинктивно жестких форм поведения, которые изменяются только в результате завоевания статуса в однолинейной иерархии господства, оказывается невозможным при органических предпосылках человеческого рода. Для человеческого общества, напротив, существует проблема интеграции индивидуального, но не предопределенного природой поведения в групповую деятельность через взаимные ожидания определенных типов поведения. Мид с пытается с помощью антропологической теории происхождения ' специфически человеческой коммуникации выявить механизм, который позволяет достичь этого. Тем самым коммуникация оказывается прежде всего в центре анализа, однако было бы ошибкой упрекать Мида в том, что сформулированное им понятие общества сводится лишь к коммуникационным процессам. «Механизм человеческого общества, — утверждает он со всей определенностью, — заключается в том, что физические индивиды путем манипулирования физическими вещами в процессе своей кооперативной деятельности помогают или мешают друг другу».

Дарвиновский анализ проявления эмоций у животных и понятие жеста, выработанное Вундтом, послужили важными импульсами для разработки Мидом собственной концепции. Он разделяет их представление, что жест представляет собой «синкопированный акт», начальную фазу некоего действия, которая может быть использована для регулирования социальных отношений. Это оказывается возможным тогда, когда животное уже реагирует на эту начальную фазу деятельности другого животного таким образом, каким оно прореагировало бы на весь акт деятельности. Например, оскаливание зубов у собаки воспринимается другой собакой как начало нападения, на которое она отвечает либо бегством, либо таким же оскаливанием. Если устанавливается именно такое отношение, то начальная фаза действия может послужить «знаком» для всего акта действия или заменить его. Правда, Мид дает отличное от Дарвина толкование, который предполагает, что за жестом скрываются намерения поведения: животное ничего не намерено выражать, его поведение скорее является неконтролируемым выходом энергии импульса. Но вместе с тем Мид не разделяет и концепцию Вундта, который полагал, что понимание происходит через подражание жестам; та же самая эмоция, которая в одном животном выражается в виде жеста, вызывается и в другом животном в результате подражания этому жесту. Слабым местом данной концепции является тезис о том, что подражание представляет собой импульсивный и простой механизм, который безоговорочно может быть использован для объяснения. Для Мида дело обстоит как раз наоборот: само подражание является трудной работой, нуждающейся в объяснении. В самом деле, каким образом достигается понимание через жесты, которые имеют одно и то же содержание для обоих участников коммуникационного процесса? Для того чтобы жест для обоих участников коммуникационного процесса имел одинаковое значение, необходимо, чтобы исполнитель одного жеста мог вызвать в себе именно ту реакцию, которую он вызовет у партнера. Тогда в нем будет представлена реакция партнера. Таким образом, жест должен быть воспринят самим исполнителем. Подобное имеет место прежде всего у людей в отношении определенного вида жестов, которые к тому же могут производиться в зависимости от ситуации и весьма дифференцированно. Речь идет о голосовом «жесте». Это не означает, как нередко утверждается, что Мид преувеличивал значение голосового жеста: он не говорит о его повышенной частоте, но отмечает, что он в наибольшей степени подходит для самовосприятия [21]. Сами по себе голосовые жесты представляют собой необходимую, однако недостаточную предпосылку для возникновения самосознания; в противном случае этот путь был бы также открыт и птицам. Решающей для Мида является, кроме того, типичная для людей неопределенность реакций и возможная благодаря нервной системе задержка реакций. Это приводит к тому, что предполагаемая реакция исполнителя на свой собственный жест происходит не просто одновременно с реакцией партнера, но что собственная виртуальная реакция предшествует. Она также регистрируется в своей начальной фазе и может быть заторможена другими реакциями еще до того, как она найдет свое выражение в поведении. Таким образом становится возможной упреждающая репрезентация поведения другого. Сам по себе воспринимаемый жест приводит не к возникновению знаков как замены раздражителей, но имеет своим следствием проявление схемы «раздражение — реакция» в поведении вообще и к утверждению значимых символов. Собственное поведение стало направляемым на потенциальные реакции партнера. Тем самым оказывается возможной целенаправленная связь действий. Действие ориентируется на ожидаемое поведение, а так как партнер в принципе располагает такой способностью, то общеобязательный образец взаимных поведенческих ожиданий является предпосылкой коллективной деятельности.

Этот антропологический анализ, который Мид неизменно распространяет на сравнение человеческой и животной социальности, создает основу для формирования важнейших понятий его социальной психологии [7, р. 36—40]. Понятие роли как раз и обозначает образец поведенческого ожидания; присвоение роли другого является предвосхищением поведения другого, а не занятием, скажем, его положения в организованной социальной связи. Эта внутренняя репрезентация поведения другого ведет к тому, что в отдельном индивиде формируются различные моменты. Отдельный индивид делает теперь свое поведение аналогичным образом объектом своего рассмотрения, как и поведение своих партнеров, он видит себя самого с точки зрения другого. Наряду с величиной побудительного импульса теперь, таким образом, появляется момент ее оценки, которая включает в себя ожидания реакций на проявление этих импульсов. Мид говорит о «Я» и «мое». Понятие «Я» обозначает в философской традиции принцип творческого начала и спонтанности, но одновременно оно имеет для Мида и биологический смысл — характер побудительного импульса человечка. Нередко это воспринимается как некое противоречие, ибо с понятием «побуждение» ассоциируется неосознанное природное принуждение. Однако Мид, напротив, понимает человека как индивида, обладающего «конституциональным избытком импульса» (Гелен), индивида, который, помимо удовлетворенности, создает в своей фантазии пространство и может быть канализирован только путем нормирований. «Мое» означает мое представление о том образе, которое имеет обо мне другой, или на примитивной ступени мое восприятие его ожиданий в отношении меня. «Мое» как проявление соответствующего лица во мне является оценочной инстанцией для структурирования спонтанных импульсов, а также элементом возникающего самообраза. Если же я затем вступаю во взаимодействие с несколькими существенными для меня партнерами, то я обретаю несколько различных «мое», которые должны быть синтезированы в некий единый самообраз, чтобы стало возможным консистентное поведение. Если такая синтезация удается, то возникает «сам» (Self), идентичность «Я» в качестве единой самооценки и ориентации действий, однако открытой и гибкой в отношении достижения взаимопонимания со все возрастающим числом партнеров; одновременно развивается стабильная, с определенными потребностями структура личности. Модель Мида иначе, чем модель Фрейда, ориентирована на диалог побудительных импульсов и общественных ожиданий; не обусловленное культурой подавление или анархическое удовлетворение побуждений в качестве безвыходной альтернативы, но открытая полемика, диалог, в ходе которого общественные нормы поддавались бы коммуникативному изменению, а побудительные импульсы добровольной, либо удовлетворяющей, переориентации.

Теория личности Мида переходит в логику развития формирования идентичности, действительную как для вида, так и для индивида. Центральными видами являются виды детской игры, обозначаемые понятиями Play и Game. Play — это игровое взаимодействие ребенка с воображаемым партнером, причем ребенок исполняет обе роли. В этой форме игры вырабатывается способность мысленного представления поведения: поведение другого представляется непосредственно и дополняется собственным соответствующим поведением. Ребенок достигает этой стадии, если он способен к взаимодействию с любыми отдельными лицами и к восприятию перспективы другого лица; если, таким образом, принимается во внимание уже не только более высокое по положению с точки зрения побуждения лицо. К этой стадии развития примыкает способность к Game, к участию в групповых играх. Для этого оказывается уже недостаточной антиципация поведения отдельного партнера; теперь поведение всех прочих партнеров должно стать ориентиром деятельности. Эти другие представляют собой отнюдь не разрозненные и не зависящие друг от друга части, но являются носителями функций в целенаправленных группах с определенным разделением труда. Действующее лицо должно ориентироваться на некую цель, общую для всех действующих лиц. Эту цель Мид, исходя из психических основ, называет «генерализованным другим». В данном примере поведенческие ожидания этого «генерализованного другого» представляют собой правила игры, а вообще говоря, нормы и ценности определенной группы. Конечно, ориентация на некоего определенного «генерализованного другого» вновь создает то же ограничение, что и ориентация на определенного, конкретного другого на новой ступени. Связанная с этим проблема ориентации на все более широкого «генерализованного другого», как мы покажем ниже, становится руководящей идеей этики Мида.

Мид не ставит свою модель развития в систематическую взаимосвязь с мотивационным развитием. Этот пробел в его теоретических разработках нередко служил поводом для упрека его в когнитивистской и даже рационалистской ограниченности. Однако этот упрек несправедлив. Ведь и без того представляется невероятным, чтобы мысль, исходящая явно не от познавательных связей, но из места организма в окружающей среде, ограничивалась бы одним лишь когнитивным аспектом. Фактически у Мида была разработана концепция, весьма близкая психоаналитической антропологии. Он берет естественные агрессивные и солидарные импульсы, которые, однако, сами по себе дают лишь материал для мотивов: внутренне воспринятый коллективизм контролирует их и задает им соответствующие формы проявления [22]. Все инстинктивные импульсы у человека являются редуцированными и поддаются торможению; лишь через интерпретацию и опыт входят они в структуру побуждений. Правда, у Мида нет четкого Критического анализа применения концепции инстинктов к человеку.

**Инструментальная деятельность; деятельность и практика**

Если рассматривать опубликованные в книге «Дух, идентичность и общество» лекции по введению в социальную психологию, а также большую серию статей периода 1908—1912 гг., в которых были разработаны основные идеи, в качестве ответа на вопрос о том, каким образом оказывается возможной кооперация индивидов и индивидуализация, то надо признать, что менее известное собрание неопубликованных при жизни рукописей Мида — «Философия поступка» — является, по существу, еще более фундаментальным. Здесь Мид, как и ранее во многих статьях [26; 14], Задается вопросом, как же становится возможной сама инструментальная деятельность. В частности, Мида интересует возникновение важной предпосылки целенаправленной манипуляции с предметами, т. е. речь идет о конституции перманентных объектов. Мид разрабатывает теорию обусловленности конституции «физического объекта» в способности принять на себя роль связать теоретически социализацию развития коммуникативных и инструментальных способностей.

Мид берет за основу четырехфазную модель деятельности. В соответствии с этим деятельность состоит из стадий: импульс к действию, восприятие, манипуляция и завершение деятельности, приводящее к удовлетворению потребности. В этой связи необходимо выделить характерную для человека третью фазу — фазу манипуляции. Ее промежуточное включение и относительная самостоятельность выражают для Мида редуцированность инстинктов у человека и служат связующим звеном в процессе возникновения мышления. У животных опыт контактов полностью интегрирован в действия, направленные на удовлетворение потребностей; даже у обезьян функция протягивания руки все еще более направлена на то, чтобы ощупать предмет; только у человека рука развивается в качестве органа, который специализирован на манипуляционных действиях, связанных с конкретной потребностью. Тем самым рука и язык являются для Мида двумя истоками процесса становления человека. Наряду с обусловленной освобождением руки дифференциацией и накапливанием контактного опыта человек обладает рядом дистанционных рецепторов (как, например, глаза и уши), а также мозгом в качестве внутреннего аппарата. Если впечатления, получаемые через дистанционные органы чувств, поначалу вызывают реакции, выражающиеся в движениях тела, то замедление реакций вследствие удаления воспринятого объекта и самостоятельность сферы контактного опыта обеспечивают возможность взаимозависимости: глаза и руки контролируют друг друга, они кооперируются. Сознательное восприятие и конституция объектов, по утверждению Мида, имеют место там, где результаты деятельности дистанционных органов чувств сознательно соотносятся с контактным опытом. Но это, как отмечает далее Мид, оказывается возможным лишь в том случае, если сначала будет выработана способность к принятию соответствующей роли и эта способность сможет переноситься не на социальные объекты. Как следует это понимать?

Предмет воспринимается в качестве предмета только тогда, когда мы противопоставляем ему нечто внутреннее, что оказывает на нас давление, как только мы его касаемся. Это внутреннее, что может оказывать давление, никогда не может быть постигнуто путем разложения на составные части, ибо такое разложение приводит к появлению все новых и новых поверхностей. Необходимо все время делать какие-то допущения. Так, я допускаю по схеме давления и противодавления, которую я постигаю в процессе-самовосприятия некоего оказываемого мною на меня же самого давления, например, при игре обеими руками. Этот опыт я могу перенести на предметы, представляя в себе некое равное моему давление, однако направленное в противоположном направлении, как исходящее от объекта. Мид называет это принятием на себя роли предмета. Если мне удается это также мысленно представить (антиципировать), то я смогу контролируемо обращаться с предметами и в процессе манипуляций накопить опыт. С учетом кооперации глаз и рук это означает, что уже дистанционные органы чувств в организме могут вызывать и действительно вызывают соответствующую манипуляции реакцию ощущения сопротивления. Удаленный объект воспринимается в этом случае как антиципированное контактное значение: мы видим в предмете какую-то тяжесть, твердость, теплоту.

Правда, именно в установленной Мидом взаимосвязи как раз и нельзя выделить в качестве первичного сознательное самовосприятие осуществляемого мною на меня же самого давления. Речь идет о самовосприятии, аналогичном восприятию произведенного мною самим звука. Для того чтобы оно могло быть перенесено на объекты и антиципировано в качестве противодавления, необходимо — по аргументации Мида — уже иметь в наличии приобретенную основную форму способности к принятию на себя соответствующей роли. Только опыт взаимодействия позволяет представить мне противостоящий мне объект как действующий (оказывающий давление). Если это так, то тогда социальный опыт является предпосылкой того, чтобы хаос чувственных восприятий мог синтезироваться в «предметы». Тем самым Мид также объясняет, почему первоначально, т. е. в младенческом сознании, равно как и в сознании представителей примитивных культур, все предметы воспринимаются как одушевленные партнеры по схеме взаимодействия и только впоследствии происходит отделение социального от физического. Конституция перманентных объектов в свою очередь является предпосылкой для того, чтобы организм отграничивался от других объектов и формировался саморефлексивно в качестве единого тела. Идентичность «Я» формируется, таким образом, в ходе единого процесса одновременно с формированием предметов для действующего субъекта.

Итак, Мид предпринимает попытку сконструировать социальную конституцию предметов, не попадая в плен узкого лингво-философского значения понятия; он старается связать воедино процессы развития коммуникативных и инструментальных способностей, намечая тем самым решение той проблемы, которую не удалось решить авторам крупных концепций инструментальной деятельности, например Гелену или Пиаже [34].

Мид разрабатывает отдельные положения иной формулировки той же самой концепции в ряде своих работ, объединенных понятием «перспектива», которые примыкают к философским дискуссиям по теории относительности. Благодаря теории относительности он окончательно избавился от представления о том, что перспективы представляют собой якобы нечто лишь субъективное. Напротив, они сами в качестве субъективных наличествуют объективно. Понятие перспективы как чего-то свойственного природе является в известном смысле сюрпризом, который преподнесла философии сложнейшая физическая теория. Перспективы — это не искажения каких-то совершенных структур, не выбор сознания, сделанный из массы предметов, реальность которых должна быть обнаружена в мире вещей в себе (noumenal world). Проблема состоит в том, каким образом становится возможным, что человек не остается под влиянием своих собственных эгоцентричных перспектив, но одновременно может иметь две или более позиций. Проблема заключается прежде всего в том — и здесь Мид избегает релятивистских выводов из прагматизма, — каким образом человек обретает способность к универсальности в охвате предмета. Мид объясняет способность к смене перспектив взятием на себя другой роли, способностью поместить себя в перспективу другого. При принятии на себя роли другого во мне одновременно представлены две точки зрения, которые я должен интегрировать в многосторонний образ предмета, подобно тому, как различные «мое» также должны быть синтезированы. Помещая себя на место другого, а в конце концов и генерализованного другого, я получаю всесторонний образ предмета, а в итоге прихожу к реконструкции структурной взаимосвязи, которая включает в себя и меня самого и мою точку зрения. Не только конституция предметов, но и возрастающая глубина их постижения связаны, таким образом, с развитием идентичности. Ее нарушение создает также угрозу свободе обращения с предметами.

Итак, можно констатировать, что Мид в двух центральных пунктах с точки зрения содержания идентичен обоснованию исторического материализма, но в антропологической аргументации более точен. Он обосновывает возможность труда как свободной, сознательной деятельности, а также возможность кооперации как основанной на разделении труда организации процессов общественной жизни. То обстоятельство, что в качестве антропологической опоры материалистического взгляда на историю он привлекает основывающуюся на этих предпосылках социальную психологию, вызовет, по-видимому, у многих определенный скептицизм, ибо Мид — что совершенно очевидно — никогда не был марксистом. Маркс для него — это идеолог действующей насильственными методами немецкой социал-демократии, он приписывал ему представление о развитии истории на основе законов природы, а также тезис о «железном законе заработной платы». В марксизм как критику политической экономии Мид не углублялся; о философских же основах исторического материализма он в свое время не мог ничего знать, ибо, как известно, соответствующие сочинения не были ему доступны.

Понятие деятельности, которого придерживались Мид и представители американского прагматизма, в целом отличается, как мне представляется, от философского понятия практики у раннего Мида тем, что оно ограничивается манипуляцией физическими предметами, активным приспособлением, а не ставит задачу переустройства мира в полезное для жизни состояние, т. е. производство. Это вполне соответствует прагматическому понятию деятельности. Ориентация на эксперимент невольно ведет к тому, чтобы обобщать «крайний случай технического вмешательства», «при котором забывается первоначально желаемая цель, частные цели воспринимаются как общие, с тем чтобы выработать такие правила, по которым уже нельзя прийти к заранее намеченной цели, но — в зависимости от переменчивой потребности — достичь сущности всех возможных целей путем проникновения в какую-то часть природы» [33, с. 196]. Дарвинизм еще дает своим критически настроенным ученикам в сфере социальных наук схему приспособления, которая пригодна в крайнем случае для ранних ступеней развития охотников и собирателей, собственно, до возникновения производства как такового. С другой стороны, понятие инструментальной деятельности, которое не учитывает, как отмечал Маркс, исчезновения процесса в продукте, является выражением того общества, в котором производители отделены от своих средств производства и произведенных продуктов. В отдельных местах Мид пытается здесь пойти несколько дальше, однако этой попытке недостает последовательности: прежде всего систематически не учитывается центральное значение для общественного развития воспроизводства жизни, на основе чего и определяются требования ко всем остальным общественным сферам, а также универсально-историческая взаимосвязь между изменением природы и прогрессивным развитием производительных сил. Отсутствие понятия производства приводит в конечном счете к тому, что хотя, например, в педагогических работах наемный труд подвергается чрезвычайно резким нападкам как современная форма рабства, однако он сам не анализируется с точки зрения общественного развития. Как и представители классической буржуазной политической экономии.

Мид не задается вопросом о возникновении форм стоимости; у него отсутствует понятие двойственного характера труда, и это обстоятельство преграждает ему путь к общественно-теоретической конкретизации своей посылки. В частности, его высказывания относительно экономического учения о стоимости и наиболее наглядно рецензия, написанная в 1911 г. [13], показывают, каким образом он подошел к порогу теоретического обоснования теории стоимости, но не смог продвинуться дальше. Он приводит основательные аргументы против господствовавшей в то время школы английской вульгарной политической экономии, а также учения о предельной полезности. Вульгарная политическая экономия пыталась уменьшить значимость меновых отношений, однако, по мнению Мида, это невозможно, ибо при этом утрачивается какой бы то ни было реальный масштаб, вокруг которого происходят колебания предложения и спроса. Школа, развивавшая теорию предельной полезности, и без того не вызывала у Мида особого доверия ввиду ее связи с ассоциативной психологией. Согласно указанной теории, товары рассматриваются не в связи с обществом, но в их отношении к индивидуальным потребностям, которые сами по себе, правда, соизмеримы только с экономическими товарами (и так идет по кругу), ибо они мыслятся в отрыве от совокупной структуры потребностей индивида. Таким образом, тезис Мида сводится к тому, что стоимость должна рассматриваться как объективно существующий социальный феномен, который проистекает не из суммирования индивидуальных стоимостных оценок, но из организованной общественной деятельности. Проблема, которая требует своего решения и которая для Мида сопряжена с увязкой социологии и психологии, сводится к вопросу о том, каким образом эта социальная стоимость соотносится с индивидуальными желаниями. Эта проблема затрагивает только соотношение индивидуального решения о покупке и цены товара. Мид преодолевает исходный пункт субъективистской экономики, каковым является для нее изолированный потребитель, однако сам он доходит лишь до организованной группы потребителей и владельцев товаров. Он не поднимается до понимания конституции стоимости в общественно необходимом рабочем времени для производства товара.

Недостатки теории Мида заключаются не в ограничении взаимодействием или тем более в переоценке человеческой практики в отношении стихии отношений. Они основываются на том, что Мид, исходя из своих правильных антропологических посылок, хотя и оказался близок к выводу о том, что общественные взаимосвязи не могут быть поняты как биологические или психологические, однако ему не удалось конкретно представить «общество как систему человеческой практики» [36].

Отдельные тезисы, касающиеся общественных проблем, не идут, как правило, по этой причине дальше указанного вывода. Именно эти пределы придают его острой критике положения о рабочей силе как товаре, а также тезиса о производстве, в основе которого лежит принцип получения максимальной прибыли, некий дополитический, моральный характер. Его требование о принятии «билля о правах», включая право на интересную и доступную работу [18], остается безадресным и повисает в воздухе. В своей статье об эстетике [23] Мид выдвигает утопические идеи: всеобщая кооперация, структура которой доступна и понятна всем ее участникам и которая, будучи реализованной, уже принесет удовлетворение, является для него подлинным идеалом. Несмотря на то, что это была чистой воды утопия, внешне она выглядела очень красиво.

**Универсалистская этика**

Этику Мида можно реконструировать на основании ряда его важных статей [24; 25; 31], а также опираться на подробные записи студентов, посещавших его специальный курс по элементарной этике. С одной стороны, она основывается на теоретических и социально-психологических посылках Мида, а с другой — дает трудам Мида по отдельным научным областям некое общее обрамление. Исходным пунктом этики Мида служит критический разбор утилитаристской и кантовой этики. Ни простая ориентация на результаты деятельности, ни образ мыслей действующего не дают, по мнению Мида, удовлетворительного решения проблемы. Напротив, для него главное заключается в преодолении подхода утилитаристской этики, которая не задавалась вопросом о мотивах, равно как и недостаточной увязки образа мыслей с целями деятельности и ее объективным результатом, как это имеет место у Канта. Путь к этому он видит в критике общего психологического базиса обоих этических учений. Мид трактует разделение мотива и объекта желания как следствие использования понятия эмпирического опыта и добавляет, что это понятие подспудно характеризует также кантонское понятие склонности. Он вводит в этику свою теорию социальной конституции объектов; тем самым он стремится выйти за пределы кантовского обоснования универсальности на форму желания.

С точки зрения нынешней дискуссии доступ к этике Мида не является легким, так как у Мида совершенно своеобразный подход ко всей взаимосвязи. Прежде всего он избегает противоречий дискуссии относительно выводимости долженствования из бытия, применяя понятие ценности оригинальным образом к понятию деятельности: ценность воспринимается как обязательство или желание. Мид хочет показать, что содержащееся в понятии ценности отношение не может быть ограничено субъективной оценкой или объективным ценностным качеством как таковым, что оно, скорее, проистекает из отношения между субъектом и объектом, которое не может рассматриваться как отношение познания. Таким образом, ценностное отношение является объективно существующим отношением субъекта и объекта, которое отличается от структуры восприятия первичных или вторичных качеств не более высокой мерой субъективного произвола, а лишь его связью с фазой удовлетворения потребностей, а не с фазами манипуляции или восприятия. Претензии на объективность связанного с манипулированием и восприятием научного знания распространяются поэтому для Мида естественным образом и на моральную деятельность. Это не означает, что этика Мида сводится к рядовой науке. Наука, по его мнению, исследует отношения целей и средств, а этика — отношение самих целей.

Исходным пунктом для Мида является мысль о том, что не существует ни биологических корней для этического поведения, ни твердой системы ценностей, на которую всегда можно было бы ориентироваться в процессе деятельности. Биологически детерминированное (в том числе аналогичное моральному, связанное с проявлением заботы) или нормативно установленное поведение предшествует собственно моральной ситуации, которая возникает тогда, когда различные мотивы и ценности действующих лиц оказываются в состоянии конфликта и должны быть оценены в свете антиципированных результатов. Центральное место в этике Мида занимает анализ моральной ситуации.

Моральная ситуация, по Миду, — это своеобразный кризис личности. Моральная ситуация ставит личность в условия конфликта между определенными собственными ценностями и ценностями других партнеров, ценностями «генерализованного другого» или собственными импульсами. Этот конфликт парализует деятельность; неожиданная проблема ведет в тенденции к дезинтеграции прежней идентичности. Последняя может быть преодолена лишь путем самостоятельных усилий, творческим и при этом все более рискованным образом. Поэтому этика Мида и не дает правил морального поведения, но стремится объяснить ситуацию необходимости «моральных открытий». Ожидания и импульсы должны быть переструктурированы, чтобы обеспечить возможность реинтеграции идентичности и тем самым проекта некой отвечающей конкретной ситуации, реальной моральной стратегии. Если это удается, то идентичность поднимается на более высокую ступень, так как в ее поведение включен теперь учет дополнительных интересов.

"Мид пытается описать ступени формирования идентичности как ступени морального развития и одновременно как ступени развития общества к свободе от господства. Следствием ориентации на конкретного другого является ориентация на организованных других, на некую группу. Через нее и через конфликты между различными «генерализованными другими» идет ориентация на все более крупные и одновременно более совершенные социальные единицы и, наконец, на универсалистскую перспективу идеала всестороннего раскрытия человеческого рода. Этой универсалистской перспективы мы достигаем через попытку понять все появляющиеся ценности, однако не помещая их без вынесения оценки, релятивистски друг за другом, но определяя их правоту и оценивая их с точки зрения полезности для создания универсального коммуникационного и кооперационного сообщества. Всестороннее взаимопонимание с партнерами в моральной ситуации и рациональное поведение как ориентация на значение для реализации идеального сообщества — таковы два правила, действующие при решении моральных проблем. Такая перспектива выводит нас за рамки всякого конкретного сообщества и ведет к тому, чтобы беспощадно анализировать все действующие стандарты на предмет их легитимности. В каждом моральном решении скрыто соотнесение с неким более совершенным обществом [24, p. 106f].

Моральная ценность определенного общества проявляется в том, насколько в нем наличествуют разумный метод достижения консенсуса между членами общества и открытость всех институтов для коммуникативного изменения. Мид называет такого рода общество демократией. Демократия для него — это институционализированная революция. Индивиды достигают в ее рамках своей идентичности не за счет идентификации с группой, обществом как таковыми в борьбе против внутренних или внешних врагов. Мид проанализировал в своих работах, с одной стороны, функции карающей юстиции, стабилизирующие систему господства, а не врачующие ее, а с другой стороны, исследовал патриотизм как этическую и психологическую проблему. И то и другое он рассматривает как функциональную необходимость общества, в котором не все могут публично заявить о своих интересах, и поэтому оно нуждается в искусственном единстве. При этом он отдает себе отчет в том, что национальный патриотизм мог иметь прогрессивные функции в преодолении партикуляристских групповых ориентации. Создание некоего универсального сообщества вовсе не имеет для Мида характера просто морального требования; он видит его материальные основы и говорит о том, что они могут быть реализованы только там, где складывается действительное взаимодействие всех людей, т. е. на путях мирового рынка. Этот вывод близок мысли Маркса о том, как вообще этическое обоснование демократии сходится с младогегельянскими и раннемарксистскими представлениями о коммунизме как совершенной демократии.

Итак, мы подошли к решающему пункту политизации универсалистской морали. И Мид однозначно избирает этот путь. Он вновь и вновь обращается против простой умозрительной этики и подчеркивает, что даже самая жертвенная филантропия мало значит в сравнении с общественно организованными акциями помощи. Он считает моральным требованием формирование условий, в которых только и становится возможным формирование всеобщей идентичности вплоть до достижения высокой ступени морального решения, а также постоянное изменение всех институтов в целях устранения каких бы то ни было ограничений и несправедливостей. Раскрытие идентичности само по себе связано с реконструкцией институтов. Мир должен быть приведен к моральному порядку нашими усилиями, и это произойдет не в результате простого осознания, но через практическое изменение общества. Таков диапазон Мида, и тем не менее его сочинения в большинстве случаев содержат смелые надежды на компромиссы между классами, на усиление готовности к реформам со стороны общественности и государства, а также на готовность всех людей к примирению. Несомненно, это связано с ошибочной оптимистической оценкой возможности реформ. Но нас здесь интересует вопрос о том, снижает ли это обстоятельство значение этики Мида.

Я полагаю, что существенная слабость этики Мида состоит в том, что она ориентируется исключительно на модель примирения. Учет всех интересов оказывается тогда под вопросом, если интерес одного, не будучи даже обоснованным морально, уничтожает интересы других. Моральная задача может состоять в том, чтобы непримиримо бороться против угнетения и эксплуатации. Это означает прекращение взаимопонимания, коль скоро оно было лишь средством для того, чтобы отодвинуть на неопределенное время изменение существующего положения. Я нахожу, что универсалистская этика Мида выше любой бодряческой ссылки на «интересы пролетариата», равно как и всякого легковесного решения о применении силы; и тем не менее Мид не смог до конца решить проблему, каким образом интерес к идеальному сообществу проявляется в частных интересах существующего общества и какие формы конфликта являются здесь морально допустимыми.

**Наука как идеал**

Проблема, связанная с этикой Мида, заключается в том, каким образом можно достичь политизации универсалистской морали не допуская утраты самой сущности морали, как и не сводя дело внешним моральным обоснованиям проводимой политики. Межчеловеческое взаимопонимание и свободное от господства волеизъявление хотя и рассматриваются Мидом по справедливости в качестве масштаба общественного прогресса, однако эти факторы, вероятно, не являются единственными средствами достижения прогресса общества. Проблема, которую приходится решать Миду в его философии истории, состоит в том, чтобы показать разумную связь между современным и тем идеальным обществом, на которое ориентированы антропологические факторы.

Философия истории Мида исходит не из основанной на вере убежденности в разумности эволюции, но скорее из эмфатического представления об изменимости всех институтов, творческой индивидуальности и принципиальной неограниченности истории и возможностей исторического прогресса. Мид не только отвергает (как и Верве) все детерминистские концепции, в которых элиминируются шансы человеческой деятельности, но он не принимает и телеологические теории, которые утверждают наличие в истории твердой цели как реализуемой утопии. К такому типу он относит и философию истории Гегеля и Маркса. До сих пор не отмечалось, сколь сильна политическая мотивировка этого противоборства у Мида. Начиная с ранних работ, например об исследователе массовой психологии Лебоне, для Мида существует альтернатива аттентистско-утопической, революционной по своему самосознанию социал-демократии и хотя и пронизанного социалистическими идеями, однако по сути конструктивного социал-реформистского движения [20]. Здесь следует отметить как положительный момент подчеркивание практики субъектов, шансов построения собственными силами, на разумной основе лучшего общества. Благодаря этой позиции Мид оказывается также хорошо вооруженным против всех жестких или смягченных форм социал-дарвинистской теории эволюции. Специфические особенности человека сделали несущественным естественный отбор как важный механизм эволюции; не наследственность, но традиционные институты являются существенным для эволюции человека, подчеркивает он, критикуя теорию наследственности в криминалистике и в истории [19]. Однако, с другой стороны, Мид ошибочно идентифицирует антидогматизм и реформизм или соответственно догматизм и революционное движение. Вне конкретного анализа контекста реформ, проводимых государством в определенном обществе и в определенную эпоху, сам возведенный в принцип реформизм оказывается догматическим. Но, видимо, Мид оказался неспособен к обсуждению этого вопроса.

По мнению Мида, характерной для философии истории является динамика прогресса науки; он постоянно возвращается к этой проблеме, делая важные научно-теоретические наблюдения и выводы [28]. Мид считает центральным пунктом в философии истории прогресс науки, исходя из того, что он дает возможность логически доказать непрогнозируемость будущего. Мид пытается показать, что новая научная парадигма принципиально не может быть выведена на основании старой; следовательно, ее появление хотя и является необходимым с точки зрения решения проблемы, однако вовсе не обязательно в цепи причин. Для того чтобы она появилась, нужен индивидуальный мыслитель и его творческие результаты. Его исходным пунктом является конфликт его опыта с принятым в обществе объяснением мироздания в характерной для него структуре предрассудков. Коль скоро он не желает отказываться от своего опыта, он должен разработать для его объяснения не просто индивидуальную, но имеющую универсальное значение гипотезу, которая, правда, сама, в свою очередь, должна стать интерсубъективной.

Трудности научного освоения социальных проблем представляются скорее знаком поддающегося устранению путем просвещения «интеллектуального лага», чем неспособных к рационализации партикулярных интересов. Мид идеализирует здесь науку и не задается вопросом о законах развития производства на базе научных достижений; Мид идеализирует свободную и открытую коммуникацию и не интересуется условиями реализации действительно всеохватной коммуникативной политической организации. Остается открытым вопрос о том, не является ли действительно необходимой для изменения антиципированная общая картина изменившегося состояния, а также о том, противоречит ли утопия как «предельное значение» принципиальной бесконечности истории.

Острие этой критики должно быть направлено против того пафоса, который возводит реальное бессилие реформизма в историко-философскую позицию, тем самым дополнительно усиливая ее, главным образом в периоды, когда шансы на улучшение снижаются. «Философия без утопии — как небо без звезд. Она вдохновляет, пока остается темной» [37, р. 404]. При этом, однако, не следует отбрасывать содержание рассуждений Мида, касающихся функции научного опыта и его отношения к философии и житейскому опыту.

Указанная проблематика всегда занимала Мида, ибо среди самых ранних его публикаций мы обнаруживаем рассуждения о возможности измерения в психологии или — в статьях о Лассвице [16, р. 173] — первые мысли о том, что абсурдность психологии, ориентированной на пример физики, заключается в том, что опытная база физики создается именно в результате абстракции от всего того, что интересует психологию, так что обратное применение к тому, что утратилось вследствие абстракции, является невозможным. То, что здесь поначалу лишь намечается и больше похоже на критику редукционистской психологии, после 1920 г. становится объектом преимущественного интереса Мида. Он старается выявить становление научного опыта в процессе повседневного именно для того, чтобы не подменять науку иррационалистским подходом и вместе с тем не прикрывать наукообразными рассуждениями масштабы эстетической и оценочной взаимосвязи с реальностью, равно как и не затушевывать привнесение адекватных предмету научных методов в социальные науки [17].

Названная проблема приобретает для Мида дополнительную актуальность: во-первых, по политическим причинам, а во-вторых, в связи с теми тенденциями, которые выявились в ходе философской переработки теории относительности как важнейшего развития естествования. Мид наблюдает, каким образом теория относительности, с одной стороны, получает релятивистскую интерпретацию и тем самым провоцирует его принципиальную установку на разумное единение, и как она, с другой стороны, в рассуждениях о четырехмерном пространстве-времени вновь выдвигает идею Минковского, идею мира самого по себе, который был бы статически доступен бесконечному сознанию, подрывая тем самым, в духе натурфилософии, его антидетерминистскую ориентацию на изменение мира и коллективное утверждение картины мира. Это представляется ему тем более несостоятельным, что в его глазах именно теория относительности предоставляла шанс стать подтверждением прагматического понятия науки, способствуя выработке диалектической концепции неэлиминируемости субъекта из процесса научного исследования: интерпретация Уайтхеда становится для Мида важнейшим пунктом полемики. Он признает у него наличие продуктивных посылок, но стремится избежать его идеалистических выводов.

Не представляется возможным изложить здесь не завершенную вследствие смерти Мида полемику, тем более проанализировать ее. Отметим лишь, что Мид рассматривает понятие перспективы в работах Уайтхеда как важную предпосылку для формулирования нового понятия объективности путем объективирования рассматривающего субъекта; что сохранявшийся у Мида на протяжении всей жизни интерес к учению Аристотеля и к другим немеханистическим теориям природы логически выливается в реабилитацию качественного, не поддающегося количественному выражению опыта природы; что его полемика по проблеме понятия времени берет свое начало в теоретической естественно-научной дискуссии, но при этом имеет своим результатом разработку реконструктивного понятия истории и биографии. Поздние работы Мида имеют много общего с мотивами, встречающимися у Гуссерля, однако они свободны от трансцендентально-философской ориентации последнего; имея немало точек соприкосновения с трудами Уайтхеда, Мид, однако, не принял его космологии и учения об идеях. Позиция Мида по этим вопросам и, следовательно, в отношении понимания претензий науки на познание требует еще основательного изучения.

**История влияния Мида**

Влияние Мида на развитие социологии определяется прежде всего и исключительно его преподавательской деятельностью в Чикаго. В течение целого ряда лет, начиная с 1900-х годов, он читал здесь курс по социальной психологии, который впоследствии стал обязательной составной частью курса обучения продвинутых студентов-социологов. Резонанс был двояким: с одной стороны, беспомощность перед лицом теоретической сложности предмета и кажущейся абстрактной оторванности от жизни, а с другой — восхищение по поводу появления первого приемлемого обоснования социальной психологии. Нет никакого сомнения в том, что влияние Мида на современную социологию определяется только тематикой этого курса, а отнюдь не всем его творчеством. Это имело своим следствием чрезвычайно узкий подход к оценке Мида, давая повод к несправедливой критике и незаслуженным восторгам.

Социологические выводы из своей посылки Мид делает не самостоятельно. Правда, его полемика с Кули свидетельствует о том, что он всегда был открыт для эмпирического анализа общественных явлений, применения статистических методов, а также для проблем объективации опыта в научно-исследовательском процессе. Тем не менее его основная посылка рассчитана на применение и дальнейшее развитие самостоятельными «учениками». Выяснение соотношения между ними и Мидом могло бы стать предметом отдельного исследования. Здесь мы не можем обращаться к этой задаче. Ее решение к тому же затрудняется тем, что существовала так называемая Чикагская школа, в которой неразрывными узами были связаны между собой такие влиятельные направления, как, например, школа Дьюи, функциональная психология, эмпирическая и социал-реформистская социология, «институционализированные» экономисты [4]. Поэтому можно дать лишь общую характеристику теоретической ситуации, в которой пользовалось влиянием и учение Мида.

Мид воспринимался как противник индивидуалистской традиции американской социологии, который не только, подобно Дюркгейму, разрабатывал теорию общества исходя из принципа разделения труда и, подобно Россу, признавал утверждение социального контроля в качестве важной предпосылки для функционирования процесса общественной жизни, но который был в состоянии показать, каковы основные линии, по которым шло это утверждение к тому, что утратилось вследствие абстракции, является невозможным. То, что здесь поначалу лишь намечается и больше похоже на критику редукционистской психологии, после 1920 г. становится объектом преимущественного интереса Мида. Он старается выявить становление научного опыта в процессе повседневного именно для того, чтобы не подменять науку иррационалистским подходом и вместе с тем не прикрывать наукообразными рассуждениями масштабы эстетической и оценочной взаимосвязи с реальностью, равно как и не затушевывать привнесение адекватных предмету научных методов в социальные науки [17].

Названная проблема приобретает для Мида дополнительную актуальность: во-первых, по политическим причинам, а во-вторых, в связи с теми тенденциями, которые выявились в ходе философской переработки теории относительности как важнейшего развития естествования. Мид наблюдает, каким образом теория относительности, с одной стороны, получает релятивистскую интерпретацию и тем самым провоцирует его принципиальную установку на разумное единение, и как она, с другой стороны, в рассуждениях о четырехмерном пространстве-времени вновь выдвигает идею Минковского, идею мира самого по себе, который был бы статически доступен бесконечному сознанию, подрывая тем самым, в духе натурфилософии, его антидетерминистскую ориентацию на изменение мира и коллективное утверждение картины мира. Это представляется ему тем более несостоятельным, что в его глазах именно теория относительности предоставляла шанс стать подтверждением прагматического понятия науки, способствуя выработке диалектической концепции неэлиминируемости субъекта из процесса научного исследования: интерпретация Уайтхеда становится для Мида важнейшим пунктом полемики. Он признает у него наличие продуктивных посылок, но стремится избежать его идеалистических выводов.

Не представляется возможным изложить здесь не завершенную вследствие смерти Мида полемику, тем более проанализировать ее. Отметим лишь, что Мид рассматривает понятие перспективы в работах Уайтхеда как важную предпосылку для формулирования нового понятия объективности путем объективирования рассматривающего субъекта; что сохранявшийся у Мида на протяжении всей жизни интерес к учению Аристотеля и к другим немеханистическим теориям природы логически выливается в реабилитацию качественного, не поддающегося количественному выражению опыта природы; что его полемика по проблеме понятия времени берет свое начало в теоретической естественно-научной дискуссии, но при этом имеет своим результатом разработку реконструктивного понятия истории и биографии. Поздние работы Мида имеют много общего с мотивами, встречающимися у Гуссерля, однако они свободны от трансцендентально-философской ориентации последнего; имея немало точек соприкосновения с трудами Уайтхеда, Мид, однако, не принял его космологии и учения об идеях. Позиция Мида по этим вопросам и, следовательно, в отношении понимания претензий науки на познание требует еще основательного изучения.

Влияние Мида на развитие социологии определяется прежде всего и исключительно его преподавательской деятельностью в Чикаго. В течение целого ряда лет, начиная с 1900-х годов, он читал здесь курс по социальной психологии, который впоследствии стал обязательной составной частью курса обучения продвинутых студентов-социологов. Резонанс был двояким: с одной стороны, беспомощность перед лицом теоретической сложности предмета и кажущейся абстрактной оторванности от жизни, а с другой — восхищение по поводу появления первого приемлемого обоснования социальной психологии. Нет никакого сомнения в том, что влияние Мида на современную социологию определяется только тематикой этого курса, а отнюдь не всем его творчеством. Это имело своим следствием чрезвычайно узкий подход к оценке Мида, давая повод к несправедливой критике и незаслуженным восторгам.

Социологические выводы из своей посылки Мид делает не самостоятельно. Правда, его полемика с Кули свидетельствует о том, что он всегда был открыт для эмпирического анализа общественных явлений, применения статистических методов, а также для проблем объективации опыта в научно-исследовательском процессе. Тем не менее его основная посылка рассчитана на применение и дальнейшее развитие самостоятельными «учениками». Выяснение соотношения между ними и Ми дом могло бы стать предметом отдельного исследования. Здесь мы не можем обращаться к этой задаче. Ее решение к тому же затрудняется тем, что существовала так называемая Чикагская школа, в которой неразрывными узами были связаны между собой такие влиятельные направления, как, например, школа Дьюи, функциональная психология, эмпирическая и социал-реформистская социология, «институционализированные» экономисты [4]. Поэтому можно дать лишь общую характеристику теоретической ситуации, в которой пользовалось влиянием и учение Мида.

Мид воспринимался как противник индивидуалистской традиции американской социологии, который не только, подобно Дюркгейму, разрабатывал теорию общества исходя из принципа разделения труда и, подобно Россу, признавал утверждение социального контроля в качестве важной предпосылки для функционирования процесса общественной жизни, но который был в состоянии показать, каковы основные линии, по которым шло это утверждение [32]. При этом Мид оставался подлинным социологом, поскольку он подходил к решению данной проблемы не с позиций биологии и не индивидуально-психологически, а именно так воспринимался подход Фрейда. Признать единство индивидуализации и социализации — значит определить место Мида в истории социологии.

Самым значительным из непосредственных учеников Мида, кто развернул свою научную деятельность еще при жизни учителя, несомненно, является Элсворт Фэрис. Он продолжил дальнейшую разработку главным образом мотивационно-теоретических основ учения Мида. Работы этого автора еще ждут своего открытия. Спустя несколько десятилетий учение Мида оказало свое влияние на имевшие важное значение для чикагской социологии работы У. Томаса, прежде всего в части разработки биографического метода, выделения субъективного определения ситуации, субъективного; жизненно-исторического значения действия, а также в плане интереса к проблемам угрозы идентичности вследствие процессов общественного развития.

Собственно воздействие Мида заявило о себе лишь после его смерти, в поколении тех учеников, наиболее известным теоретиком и организующим центром которых был Герберт Блумер. Акценты к тому времени были уже расставлены. Это был уже не антииндивидуалистский подход, но, напротив, отстаивание субъективности и интерсубъективности в противовес бихевиоризму и структурно-функциональной теории — именно такие черты характеризовали возникающую школу «символического интеракционизма» [2]. Согласно Блумеру, «символический интеракционизм» базируется на трех посылках: во-первых, он исходит из того, что люди «обращаются с предметами на основе тех значений, которыми эти предметы обладают для них»; во-вторых, «что значение таких предметов выводится из социального взаимодействия, в которое люди вступают между собой, или возникает из него; в-третьих, эти значения используются, применяются и изменяются в ходе интерпретативного процесса, к которому человек прибегает в своем взаимодействии с встречающимися ему предметами» [1, с. 81].

Приняв эти посылки за исходный пункт, Блумер вышел за рамки всех теорий факторов, которые стремились трактовать действующего человека только как исполнителя внешних или внутренних сил. Напротив, у него в центре внимания оказываются творческие интерпретаторские результаты деятельности субъектов в процессе взаимодействия. Конечно, и сама эта концепция оказывается ограниченной во многих отношениях и обнаруживает расхождения с теорией Мида. Несомненно, верно то, что люди обращаются с предметами исходя из их значений, которые не заключаются просто в предметах или субъекте как таковом, проистекают из отношения субъекта к предмету. Однако это отношение не является делом произвольной, пусть даже и социально обусловленной, дефиниции, но имеет свои основания в потребностях организма и в собственной структуре предметов. Следовательно, если Мид руководствуется моделью испытывающего потребности организма, то у Блумера человеческие потребности неопределенно растекаются в сфере общественной интерпретации.

Вместе с тем, подобно тому, как на основании того факта, что человеческие потребности не в полной мере предопределены природой, но подчинены связи и структурированию в рамках социализации, можно сделать вывод о том, что для этих процессов не существует заданных природой рамок, мы не можем также утверждать, что согласно второй посылке значение предмета возникает в процессе взаимодействия только потому, что способность к взаимодействию является предпосылкой для конституирования объектов и деятельного обращения с ними. Мид описывает утверждение значения в коллективном взаимодействии с природой, однако не как оторванное от обращения с предметом языковое согласие относительно придаваемого предметам смысла. Здесь символический интеракционизм не учитывает понятия инструментальной деятельности и труда, а следовательно, не обеспечивает достаточного понимания языковых символов; в результате он сводит общественные отношения только к отношениям взаимодействия.

Если, таким образом, символический интеракционизм в отличие от Мида затушевывает масштабы внутренней природы человека, его потребности, а также взаимодействия с внешней природой в целях поддержания жизни членов общества, то для него оказывается затруднительным использовать свой правильный исходный пункт в отношении «совместных действий» не только применительно к группам, которые сами определяют свою цель и распределяют между собой задачи, но и применительно к связям в масштабах всего общества в целом. Что касается именно этих связей, то необходимо признать, что коллективное обеспечение жизни делает необходимыми такие императивы, которые уже не связаны со свободным решением, а также обеспечение систематической увязки человеческих действий: в поле зрения оказывается общество как объективная структура, которая не может быть произвольно изменена; группы, институты, нормы должны исследоваться с точки зрения их функций в этой общественной структуре, а не только в плане их собственной внутренней структуры. Будучи неспособным к построению концепции общественной системы, символический интеракционизм становится обратной стороной плохой альтернативы: макроанализ, мистифицирующий самостоятельность институтов как необходимую, и микроанализ, который ограничивает конституитивную субъективность частными сферами.

Его достижения заключаются во введении в область социологического анализа «микросфер», а также в критическом использовании традиционных методов эмпирических социальных исследований. И в том, и в другом случае в основе лежит последовательная концепция предмета социологических наук на базе модели человеческой деятельности. До сих пор предпочтительными эмпирическими областями научных исследований представителей символического интеракционизма остаются психопатологические или криминальные формы отклоняющегося поведения, формирование субкультур и внутрисемейные интеракционистские процессы. В характере подхода проявляется преимущество этой установки. В центре внимания находятся не статистические корреляции результатов деятельности и признаков личности действующих лиц, но процесс Определения социально релевантных обозначений (значение слова «криминальный» или «душевнобольной» и т. д.), процессуальная взаимосвязь интеракционистских явлений, субъективное определение ситуации и планирование деятельности, биографические параметры всех человеческих действий, функциональная необходимость неформальных структур, открытость протекания процессов, иными словами, все параметры, которые должны рассматриваться не как малозначимые, неопределенные признаки, но как показатели и характеристики социальной деятельности.

Символические интеракционисты выступали и выступают Ц качестве критиков методологии эмпирического социального анализа, который забывает о коммуникативном характере самих coциальных исследований и усматривает в приближенной к естественным наукам методике полную гарантию объективности. Правда, столь большая дистанция от реальной социологической науки привела их к серьезной изоляции, тем более что они были не в состоянии четко поставить проблему объективности применительно к практикуемым ими методам. А эти методы как раз и были наиболее близки исследуемой социальной реальности: непосредственное наблюдение и использование биографического материала. Блумер подчеркивает даже необходимость обсуждения результатов анализа с объектом исследования, правда, больше по техническим, чем по принципиальным соображениям; символический интеракционизм не превращается в «эмансипаторское социальное исследование», так как ему недостает систематического утверждения своего положения в системе общественных взаимосвязей, кроме того, отсутствует установка на совместное преодоление системообусловленных недоговоренностей исследователями и исследуемыми; он ориентируется преимущественно на низшие слои, положение которых должно быть улучшено, не обнаруживая, однако, предпосылок к их самопомощи и не показывая необходимости научного обоснования самодеятельных форм сопротивления.

О чрезвычайно слабой позиции Блумера свидетельствует уклонение от проблемы объективности познания, проявляющееся именно тогда, когда подчеркивается различие перспектив и ценностей ученого-исследователя; это особенно заметно перед лицом легитимационного нажима со стороны развивающейся социологической науки в части доказательств научности методов и подходов. С учетом этой ситуации другие формы развития представителей символического интеракционизма представляются мне понятными. Школа Манфреда Куна [12; 32], из которой вышло огромное число частных эмпирических исследований, характеризуется тем, что она полностью восприняла нормы неопозитивистской научной теории и не акцентировала своих различий с теорией Мида. Поэтому возникает необходимость перевода всех понятий символического интеракционизма в прогнозные переменные величины эмпирических исследований. Вырванные из контекста положения Мида подвергаются эмпирической проверке и либо принимаются в качестве пригодных, либо, будучи фальсифицированными, отвергаются. Не поддающиеся проверке фрагменты теории, как, например, диалектика понятий «Я» (I) и «Сверх-Я» (Me), отбрасываются как неясные.

Получаемые таким путем результаты редко выходят за пределы обычной бихевиористской психологии. Сфера самооценки и отношения к себе самому вводится в методику психологического тестирования в усовершенствованном виде, что, однако, учитывая потенциал теории Мида, представляется весьма «тощим» результатом.

В сравнении с этим устранение вопроса об объективной проверяемости полученных результатов хотя, возможно, с эмпирической точки зрения является более продуктивным, однако представляет собой все же не что иное, как еще одну попытку уйти от ответа. Сюда же я отнес бы и эссеистские работы Ирвинга Гофмана, которые, будучи написаны в весьма доходчивой форме, приобрели большую популярность и надолго сформировали в обыденном сознании образ символического интеракционизма. Здесь сочетаются увлекательные, построенные на обширной экспериментальной базе анализы, например, структуры лечебных учреждений с чрезвычайно проблематичной, идеологизированной картиной общества, которая мистифицирует сущность человека как якобы нацеленную на постоянное самоизображение, представляя общественные отношения как недоступные влиянию индивидов и неизмененные. К Миду, равно как и к научному анализу вообще, все это имеет мало отношения.

Переезд Блумера из Чикаго в Калифорнию в 1952 г. подготовил условия для интеграции школы Мида в ту новую волну академической социологии, которая в последнее десятилетие пришла в конфликт с господствовавшей социологией, лицо которой определял Парсонс. Подобно тому как феноменология была проблемной реакцией на объективистскую психологию, так и феноменологическая социология была полезной в качестве реакции на Парсонса, оставаясь при этом сомнительной: отсутствие понятия общественных взаимосвязей, сведение практики к интерпретации попытки априорного выявления структур обыденного сознания таковы огромные отличия от теоретических посылок Мида. Наряду с классическим символическим интеракционизмом наиболее значительным было усвоение мидовой концепции интеракционизма именно со стороны представителей теории Парсонса. Мид явился для Парсонса поводом для перехода от основополагающей моде одинокого действующего лица к диаде «эго — альтер», ставшего центральным пунктом в его теории социализации. Парсонс пытался также увязать понятие Мида о принятии на себя роли концепциями Фрейда таким образом, что выявлялись мотивационные движущие силы взаимодействия. Правда, Парсонс отказывался признавать экспериментально-открытый характер взаимодействия. В его теории поэтому теория Мида застывала в виде гаранта взаимности поведенческих ожиданий, представляемой в качестве извечно существующей. Существование общих систем символов, а не их конституирование — вот фундамент его концепции. «Коммуникация обретает значимость для Парсонса только на уровне системных процессов обмена, то есть на более высоком, чем взаимодействие, уровне». Подобная форма восприятия теории Мида особенно характерна для судьбы терминов, которыми оперирует его теория. Теория ролей превращается из модель практического взаимопонимания и коллективного самоопределения в конформистскую концепцию детерминированности отдельного человека чужими ожиданиями. Изучение малой группы не привело к распространению социологии на феномены непосредственного взаимодействия, но ограничилось созданием ряда примеров, подтверждающих бихевиористские законы, претендовавшие на то, что их якобы основанная на законах природы действенности имеет силу и в отношении крупных общественных взаимосвязей

В Германии восприятие теории Мида до сих пор было чрезвычайно слабым. Гелен в своей «Антропологии», начиная пример но с 1950 г., ставил Мида весьма высоко, правда, не обращаясь систематическому рассмотрению интерсубъективистской посылки Мида [5]. Хабермас показал превосходство Мида над выросшей его теории бихевиористской семиотикой Морриса; он разделяет те основные понятийные рамки теории социализации, которые были разработаны Мидом и Парсонсом [6]. Сам я использова4 положения Мида в качестве исходного пункта критического анализа различных школ в области теории ролей [9].

Возобновление требования эмансипации в педагогике, психология развития, проявляющая интерес к развитию идентичности освобожденная от бихевиористской теории обучения социолингвистика, преобразование в духе интеракционизма психоаналитической теории, прогрессивное развитие в области языково-аналитической философии и многое другое [10] — все это подготови

**Список литературы**

1. Blumer H. Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus // Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Reinbek, 1973. Bd. 1. S. 81.

2. Blumer H. Social psychology // Man and society / Ed E. P. Schymidt. M.Y., 1938. P. 144—198.

3. Dewey J. The reflex arc concept in psychology // Psychol. Rev, 1896. № 3.

4. Paris R. E. L. Chicago sociology, 1920 — 1932. Chicago, 1967// Ru,eker O. The Chicago pragmatists. Minneapolis, 1969.

5. Gehlen A. Der Mensch. Frankfurt a.M., 1971.

6. Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaft Tubingen, 1967.

7. Joas H. Die gegenwartige Lage der soziologischen Rollentheorie. Frankfurt a.M., 1975. S. 36—40.

8. Joas Я. Thesen iiber Feuerbach und Marxilntersubjektivitat und historischer Materialismus // Ansatze zur materialistischen Sprachtheorie / Hrsg. A. Leist. Kronberg, 1975. S. 46—54.

9. Joas Я. Zur gegenwartigen Lage der soziologischen Rollenthenrie, Frankfurt a.M., 1975.

10. Kohlberg L. Privatsprache: Vier Studien und ein theoretischer Dberblick // Kohlberg L.Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Frankfurt a.M., 1974. S. 256—333.

11. Krappmann L. Soziologische Dimensionen der Identitat. Stutt gart, 1971.

12. Kuhn M. H. Major Trends in symbolic interaction theory in (he past thenty-five years // Manis J. G., Meltzer M. Symbolic inter action, Boston, 1973.

13. Mead G. H., Andersol В. М. (Jr.). Social value: A study in iiconomic theory // Psychol. Bull. 1911. № 8.

14. Mead G. H. Concerning animal perception // Psychol. Rev. 1007. № 14.

15. Mead G. H. Cooley's contribution to American social thought // AmerJ. Sociol. 1930. № 35.

16. Mead G. H. Herr Lasswitz on energy and epistemology // Psychol. Rev. 1984. № 1.

17. Mead G. H. E. W. Hobson: The domain of natural science // 1 Religion. 1924. № 4.

18. Mead G. H. Industrial education, the working-man, and the school // Elementary school teacher. 1908—1909. № 9. ••

19. Mead G. H. Paul Jacoby: L'etudes sur la selection ch'efl 1'homme; // Psychol. Bull. 1905. № 2. • 1

20. Mead G. H. Le Bon G.: The Psychology of Socialism // Amerl J. Sociol. 1899. № 5. |

21. Mead G. H, The mechanism of social consciousness // J. Phi-1 los. 1912. ' I

22. Mead G. H. National-mindedness and internalional-minded-1 ness // Intern. J. Ethics. 1929. № 39. J

23. Mead G. H. The nature of aesthetic experience // Ibid. 1926.J № 36. ' . J

24. Mead G. H. Philanthropy from the point of view of ethics /Я Intelligent Philantropy / Ed. E. Faris et al Chicago, 1930. ~'Я

25. Mead G. H. The philosophical basis and ethics / Intern, jfl Ethics. 1908. № 18. - I

26. Mead G. H. The Philosophy of the Present / Ed. A. E. Mur-1 phy. La Salle (III.), 1932. vl

27. Mead G. H. A pragmatic theory of truth // Studies in the nature of truth. Univ. Calif. Publ. in Philos. 1929. № 11. Ш

28. Mead G. H. Scientific method and individual thinker /m Creative intelligence: Essays in the pragmatic attitude / Ed. J. DeweJJ et al. N.Y., 1917. M

29. Mead G. H. Scientific method and the moral sciences //• Intern. J. Ethics. 1923. № 33. 1

30. Mead G. H. Social consciousness of meaning // Psychol. Bulffl 1910. № 7. 1

31. Mead G. H. The social self // J. Philos. 1913. № 10. 1

32. Meltzer B. N., Petras J. W The Chicago and Iowa schools оЯ symbolic interactionism // Manis J. G. Meltzer B. Symbolic interac'J tion. Boston, 1973. Я

33. Meltzer B. N., Petras J. W., Reynolds L. T. Symbolic interac-1 tionism: Genesis, varieties and criticism. L., 1975. m

34. Scheler M. Erkenntnis und Arbeit; Eine Studie iiber Wert uncfl Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt //1 Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Bern, 1960.

35. Voort van de W. Die Bedeutung von Vorformen des kommu-$| nikativen Handelns fiir die Entwicklung der vorsprachlichenf Intelligenz beim Kinde // Ansatze zur materialistischen Sprachtheo- j rie / Ed. A.Leist. Kronberg, 1975. J

36. Wetzel M. Gesellschaft als System menschlicher Praxis: Kate-1 goriale und wissenschaftstheoretische Grundlagen einer Theorie der Gesellschaft. Hamburg, 1974.

37. Williams W. A. The contours of American history. N.Y., 1973. j